

НАТАЛЬЯ КОСТЮК



ПРО ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

В маленьком городе Кобрине, в северной его части, именуемой Лепесы, семейная жизнь у людей складывается точно так же, как и на всём белом свете. Счастливые семьи соседствуют с несчастливymi.

Баба Люба и дед Ксаверий в своём приземистом домике у самой дороги однажды сочли за ничто те нелёгкие сорок лет своей жизни, в течение которых согласно делили меж собой и хлеб на столе, и кров над головой. В шумной семейной ссоре по пустяковому поводу они, забыв Бога, не стали терпеть друг друга с любовью и покорились злу, себе в поругание, а душе — в погибель. Баба Люба, обычно осмотрительная и сдержанная на язык, неожиданно впала в тяжкий грех злословия. А дед Ксаверий, омрачившись разумом, — как был в тапках на босу ногу и красных спортивных штанах — так впервые в жизни и покинул родной дом на ночь глядя, чтобы бесследно раствориться затем в стыллой февральской тьме.

— Глаза б мои тебя вовек больше не видали! — успела через форточку бросить ему вдогонку раздосадованная супруга.

Но пришлось бы слишком откровенно пренебречь истиной, чтобы всю вину в этой размолвке возложить целиком на её слабые женские плечи. Мно-

Костюк Наталья Вениаминовна окончила филфак Брестского пединститута имени А. С. Пушкина. Работала учителем русского языка и литературы в школе, переводчиком в Северной группе войск Советской Армии, воспитателем в дошкольном детском доме. Любимая писательская тема — дети, обездоленные судьбой, словом, те самые дети, работе с которыми отдала четверть века своей жизни. В 2010 году "Детдомовские рассказы" вышли сборником в издательстве Белорусской Православной церкви по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. Публиковалась в журналах "Нёман" (Минск), "Фома" (Москва) и др. Член Союза писателей Беларуси. Живет и работает в Кобрине (Брестская область).

гие из претензий бабы Любы к мужу все-таки имели под собой некоторое основание. Водопроводный кран на кухне, например, действительно протекал не менее трех дней кряду. А старая тощая крыса, с осени поселившаяся под полом дома и благосклонно принявшая от хозяев звучное имя Барракуда, давно уже в открытую позволяла себе ночами как ни в чём не бывало прогуливаться по их чистенькой супружеской спальне.

Супруги со скандалом расстались. В их опустевшем нетопленном доме царилась сугубая, гнетущая тишина. Старенькие настенные часы в спальне — и те лишь с большим запозданием решились, наконец, скрипуче отсчитывать полночи. Да чуть позже громко разбилась о немытую обеденную посуду капля воды, оброненная неисправным водопроводным краном на кухне.

— Истинно, что всё злое и скорбное в жизни приключается за возношение наше, — вздохнула баба Люба. Искося бросив взгляд на цветной фото-портрет мужа, торжественно установленный не так давно на верхней полке громоздкого серванта, она мимо воли вернулась в памяти к тому роковому событию, которое нежданно-негаданно послужило началом всех её нынешних бед.

Ровно неделю назад, хмурым морозным днём, в магазине, иронически именуемом лепесовцами “Прощай-Кобрин!” за его максимальную удалённость от благ городской цивилизации, баба Люба как раз присматривалась к вновь поменявшимся ценам на хлеб, когда две малознакомые ей молодые особы в своём слишком оживлённом разговоре у кассы приватно упомянули имя деда Ксаверия.

— Хоть и старик уже давно, а ведь вот до чего ж хорош ещё собою, чертяка этакий! — намеренно громко говорила одна из них, закатывая под выщипанные бровки круглые водянистые глаза. — Толковый, справный, руки откуда надо растут... Такие, как он, промежду прочим, на дороге не валяются!

— Что-что, а так оно, в сущности, и есть! — щебетала другая, кивая непокрытой, по-модному стриженной головой в сторону бабы Любы. — На руках её носит! А она его как есть в чёрном теле держит. Ни вздохнуть, ни выпить-курнуть нипочём не даёт. Да и дитёнка ни единого за всю свою жизнь, уже старости дождалши, так и не удосужилась ему родить. С чего бы, кажись, такая непомерная любовь-морковь!

Молодицы, обе пышнотелые и разгорячённые, в искусственных под норку шубках, с откровенным любопытством разглядывали старенький пуховый платок на седовласой голове бабы Любы и её удобные для похода в магазин, но отнюдь не праздничные сапоги. Забыв о хлебе насущном, ради которого и выбралась из дому, баба Люба, не приняв вызова, но пылая лицом, малодушно поспешила покинуть поле несостоявшейся битвы.

— Тыщу лет ношу-ношу этот чепуховый платок, и всё сносу ему нет! — чуть не бегом вернувшись домой, с порога обвинила она изумлённого супруга во всех смертных грехах. — А если б у тебя руки и вправду росли откуда надо, то давно бы провёл газ в хату, чтоб о печке можно было и думать забыть!

Целую неделю дед Ксаверий отмалчивался в ответ на её попреки, тайно курил в рукав при открытой форточке и, уповая на Бога, по-мужски терпеливо дождался скорейшего возвращения жены в разум истины. По всему, ей следовало бы, конечно, вознести смиренную молитву ко Господу об укреплении немощных сил и произволения, которая в таких случаях единственная только и может угасить в душе всепожирающий пламень страстей. Но, намеренно избегая встречаться взглядом с кроткими глазами Христа на иконе в простенке между окнами спальни, баба Люба демонстративно перенесла свою постель в другую комнату, на узкий неудобный диван, втайне отстаивая для себя право на безраздельное владение мужем по своему, женскому, усмотрению и, разумеется, до скончания времён.

— Да сколько ж, Любаша, может продолжаться такая свистопляска! Какому лихому бесу взбрело на ум вселиться в тебя, неумёмную? — не сдержался, в конце концов, дед Ксаверий. Его нервный срыв, несомненно, и вверх бабу Любу в тот душепагубный грех злословия, из-за которого тотчас разгорелся весь сыр-бор внутрисемейного конфликта. А самочинный уход деда

Ксаверия из родного дома подвёл уже окончательный итог их семейному союзу, заключённому, между прочим, на Небесах.

...Для внезапно осиротевшей бабы Любы настал тот миг, когда многого уныния надлежало исполниться душе её. Не сводя глаз с фотопортрета мужа, она вдруг отчётливо поняла, что ужином кормить сегодня ей доведётся лишь то единственное живое существо в доме, которое, возможно, отныне и навсегда будет делить с нею её вынужденное одиночество.

— На, поешь, Барракудка! Может, как налопаешься от пуза, так меньше будешь шастать по хате да ножищами своими топотать, — предложила она скромное угощение “квартирантке”, выставляя на полу у входной двери остатки посиневшей перловой каши в старой алюминиевой миске.

Эта пятидесяतिकопеечная миска, кстати сказать, была первой семейной покупкой супругов, совершённой, по словам деда Ксаверия, чуть ли не на заре советской власти, а точнее — в те первые дни после их свадьбы, когда баба Люба ещё могла похвастаться осиной талией, а сам он — белозубой улыбкой и немереной силой большого крепкого тела.

— Вербочка моя синеглазая! — любил в те поры говаривать он, легко перехватывая её талию пальцами обеих рук. Воспитанный в патриархальном духе старой деревни, он принципиально не позволял жене работать нигде, кроме города, и самостоятельно содержал семью на свою скудную зарплату дорожного рабочего. Из года в год Лепесы с затаённым интересом ожидали финала их бездетного и финансово не обеспеченного супружества. Но время шло, а финал всё откладывался по не совсем понятным для заинтересованной общественности причинам.

— Всю жизнь жалеет тебя, как незнамо кого! — бывало, не раз удивлялась ближайшая соседка бабы Любы, бывшая машинистка городской газеты “Кобринский вестник” и местная знаменитость — красавица Клара. Смолodu причисливши себя к тонкой прослойке лепесовской интеллигенции и лишь недавно выйдя на пенсию, она навсегда осталась непреклонной в том пункте своего жизненного *credo*, который касался неизменности её возраста и скептического отношения к мужчинам.

— Пойми, подобная жалость унизительна! — снисходительно поучала соседку Клара и, хоть догадывалась, сколь болезненной может оказаться для собеседницы тема их разговора, всё же настаивала на необходимости сиюминутного разрешения наболевшей проблемы. — Чем так жить, как вы с Ксаверием живёте, без детей да без гроша денег в кармане, то расстаться — в сто раз лучше! Отпусти ты мужика на волю!

Клара знала, о чём говорила. Она в разное время, но последовательно и безо всяких сожалений *отпустила на волю* всех своих троих мужей и, оставив каждому из них на память о пережитом по ребёнку, отвоевала, в конце концов, для себя вожделенное право на финансовую независимость и строго индивидуальный образ жизни.

Баба Люба не всегда умела уберечься от нежеланных встреч с Кларой. Дружеские назидания учёной соседки часто влекли за собой боль сердечную и рой мучительных мыслей по ночам. После тягостных разговоров с нею трудно было найти в себе силы для противостояния злу. И, за неимением конкретного, ярко обозначенного противника, баба Люба, впадая в грех, часто обрушивала всю свою неутешную женскую боль на седую голову ни в чём не повинного супруга.

— Утомонись, Любаша! Перетершим... — увещевал в таких случаях жёну дед Ксаверий, осушая носовым платком её синие заплаканные глаза. Сидя обнявшись под образами на скрипучей супружеской кровати, оба вслед за тем долго молчали и вздыхали о множестве своих невзгод, попущенных им Господом, который, говорят, ради долготерпения во скорбях и злостраданиях прощает человекам все их грехи. Но в тот день, когда баба Люба, пламенея, вернулась из “Прощай-Кобрина”, где две пышнотельные молодки перемывали её белы косточки, у деда Ксаверия, как на беду, не оказалось под рукой подходящего носового платка. Эта досадная оплошность и лишила супругов тепла их домашнего очага, тем более что о нетопленной с самого утра печке в пылу жаркой ссоры никто так и не вспомнил.

...По-зимнему поздний тоскливый рассвет белёсым неясным пятном отметился на занавешенном окне спальни, которая ещё накануне вечером имела основания именоваться супружеской. Баба Люба, лёжа одетой на неразогланной кровати и прислушиваясь к ноющей боли в груди, перебирала в уме возможные варианты местонахождения мужа.

— Лишь бы к куму не пошёл, — озабоченно вздыхала она. — Если к куму в такую стужу посунулся за тридевять земель в одних тапках, то как пить дать по дороге всё на свете себе поотморозил!

Кум Алексеич, до пенсии водитель местного дорожного управления, жил тремя улицами дальше, у самой городской черты, и на этом основании был однажды бесцеремонно отнесён городскими властями к разряду рядовых сельских жителей. Дед Ксаверий крестил всех детей Алексеича и всегда был желанным гостем в его добротном бревенчатом доме, крытом в пику властям — на городской манер: красной металлочерепицей.

Твёрдо решив с утра пораньше проведать Алексеича в его загородном доме, баба Люба засобиралась в дальнюю дорогу.

В сумеречном свете уличных фонарей она не особенно поглядывала по сторонам, а всё своё внимание сосредоточила на крыше кумова дома, красным цветом обозначавшей далеко впереди плавный переход Лепесов в непосредственно сельскую местность.

— ...Нам бы давно пора всё расставить по местам в наших с тобой межличностных взаимоотношениях! — неожиданно переступила ей дорогу, дыхнув в лицо морозным паром, чем-то крайне озабоченная Клара. В наспех накинутом на плечи полушубке и со следами вчерашнего макияжа на увядшем лице, она диковинным привидением возникла перед бабой Любой из-за снежного заноса у самого края дороги. Судя по плотно утоптанной в снегу тропинке к её небольшому ухоженному дому, который, между прочим, по-свойски когда-то помогал строить безотказный дед Ксаверий, она дожидалась здесь соседку уже давно.

— Потом, — отмахнулась от неё баба Люба, не выпуская из виду красную металлочерепичную крышу кумова дома вдали.

— Нет, сейчас! И здесь! И без того давно жду! — рывком развернула её лицом к себе Клара. — Между нами отныне не должно оставаться никаких недоговорённостей! — и она ненадолго задержала дыхание, чтобы справиться с чуть дрогнувшим голосом, но вслед за тем продолжала уже в ровной и всегда свойственной ей назидательной манере: — Согласись, что Ксаверию было бы лучше жить со мною! С тобой он всю жизнь промаялся. А я — и красивее тебя, и значительно моложе!

— Как моложе? — не поняла поначалу опешившая баба Люба, но в следующий миг и впрямь, как ей показалось, расставив всё по своим местам, рванулась из рук новоявленной соперницы к калитке в металлической ограде её дома.

— Ксюша, Ксюша, прости меня, треклятую! — захлёбываясь слезами, закричала она в глубину тёмного двора, но, удержанная Кларой за полу старомодного зимнего пальто, со всего размаху упала лицом в снег, так и не успев добежать до калитки.

— Послушай, недопустимо же так унижать себя! — грузно перепрыгнув через павшую и загородив собой проход в сугробе, зло выкрикнула Клара, однако, не лишённая способности к состраданию, добавила, строго глядя на неё сверху вниз: — Посмотри, на кого ты похожа! Чучело какое-то огородное, честное слово!

Заплаканная, в съехавшем на плечи пуховом платке и с растрёпанной седой косичкой вокруг головы, баба Люба беспомощно ползала в снегу у Клариных ног. Силясь встать с колен, она всё пыталась ухватиться за железные прутья ограды, но ничуть не преуспела, а лишь в кровь изранила себе примерзающие к металлу руки.

— Ксюша, живи, где хочешь, коли тебе без меня лучше, — только прости! — вновь закричала она, тяжело привалившись обмякшим телом к решётке ограды. — Всю жизнь тебе испортила, греховница злоязыкая!

Подождав немного, насколько позволила хлопотавшая вокруг неё Клара,

баба Люба поднялась, наконец, с колен и, тяжело переступая с ноги на ногу, медленно двинулась прочь от постылого дома. Что-то вслед ей ещё кричала удивлённая Клара; о чём-то, смеясь, громко судачили соседки из-за ближайших заборов — она не различала долетавших до неё слов. Уже дома, сбросив с больших ног сапоги, в безвременье лежала, вытянувшись, на кровати и слушала, как капает вода из протекающего кухонного крана да ближе к вечеру устраивается в подполье на ночлег объевшаяся перловой каши старая одинокая крыса Барракуда.

...В сгустившихся февральских сумерках особенно отчётливо и неспроста полыхнул несколько раз и тотчас же погас огонёк лампы у иконы Спасителя в протекше между окнами.

— О Господи! — испуганно прошептала баба Люба и приподнялась на кровати, словно подетёгнутая внезапной, долго таившейся от неё мыслью. — За последнюю неделю ни единого разу лба своего медного крестным знаменем себе не осенила, окаянная!

В потёмках, не включая света, торопясь и спотыкаясь о собственные сапоги, она вторично на дню засобиралась в путь.

— Молитву пролию ко Господу и возведу ему печали моя! — сквозь одышку, словно в забытии, вполголоса подбадривала она себя, с трудом пересекая пустынную заснеженную дорогу и длинный ряд сугробов позади бывших солдатских казарм военного городка. Сюда в это время всё отчётливей доносились размеренные удары колокола Свято-Введенского храма, некогда напутствованного на служение благочестивыми афонскими старцами.

Вечерняя служба в церкви ожидалась с минуты на минуту, тотчас по приезде настоятеля, отца Виктора, который, как было слышно, уже разворачивал во дворе свой автомобиль. Но баба Люба, вдруг утратив решимость, так и осталась стоять в притворе, пока стремительно и шумно вошедший с мороза отец Виктор по-хозяйски не распахнул перед нею внутреннюю дверь храма.

...Что за чудо — эти незатейливые провинциальные церковки! Равно чуждые и ослепительному блеску обманчивой роскоши, и многоголосому шуму столичной суеты, они являют благодарному взору мир, именуемый горним. Длинная полосатая дорожка домотканого половичка по свежeweымытому полу от самого порога; жар оплывающих воском свечей в восходящей дымке кадильного ладана; скорбные лики святых, исчезающие в трепетном мерцании одиноких лампад, и незримое, но почти осязаемое реяние Божества, благорастворённого в молчаливом сумраке субботнего полиелея...

— Нет, недостойна я, батюшка, зрети эту чистоту небесную... грешна... — мягко отстранилась от священника баба Люба, не решаясь переступить порог храма.

Но отец Виктор, вторично приглашая пройти, лишь шире раскрыл перед нею двери в храм и с улыбкой провозгласил нараспев нарочито низким голосом:

— Дерзай, чадо, дабы благих сподобиться надежд!

— Ах, батюшка... — в глубоком поклоне, по-детски укрывая ладонью исказившееся лицо, попыталась она приложиться к его руке. Но он, поспешно сбросив с себя меховую куртку, в развевающемся подряснике, уже вошёл в алтарь, откуда вскоре и возвестил, торжественно и протяжно:

— Благословен Бог наш всегда-а...!

В немногочисленном, уютом храме прямая, как свеча, баба Люба стояла у престола Божия, не смея ни переступить с ноги на ногу, ни прислониться плечом к стене. Привычно крестясь и вторя певчим, она всё более и более вверяла себя тому тёплому чувству умиротворения, которое на молитвенном стоянии неизбежно объёмлет всякую смиренную душу, уповающую на скорое утешение и покой. Лишь единожды запоздалое рыдание пресекая ей горло — когда при взгляде на образ Богородицы “Взыскание погибших” она отважилась едва слышно попросить:

— Застушница Усердная, помилуй мя... и помоги... если можно, конечно...

В высоком ночном небе над Лепесами мерцали холодные февральские звёзды. Где-то у самого горизонта, ближе к земле, должно было бы светить-

ся окно родного дома бабы Любы тем тёплым немеркнущим огоньком, который всегда прежде зажигал для неё по вечерам предусмотрительный дед Ксаверий. Она и не удивилась поначалу, когда, отворив калитку, увидела привычный свет в крохотном окошке своей кухни, где его со вчерашнего вечера зажигать, казалось бы, было решительно некому.

— Ксюша, ты ли? — беспомощно застыла она у порога, пока дед Ксаверий, как и встарь не раз бывало, с трудом стаскивал с её уставших ног сапоги.

Это действительно был он — в тапках на босу ногу, красных спортивных штанах и длинном клеёнчатом фартуке, предназначенном для растопки печей и починки протекающего водопроводного крана.

— Знаешь, — невольно поёжился он от неприятных воспоминаний, — ещё б одна такая ночь у Алексеича, и можно было бы запросто в ледяную глыбу превратиться. Он, видишь ли, среди зимы придумал на топливе экономить, артист! Вот так, без носков, и пришлось от него сбежать без оглядки.

— Так ты у кума ночевал? — быстро переспросила баба Люба, чтобы раз и навсегда закрыть для себя эту скользкую тему, после чего не колеблясь извлекла из потаённых глубин своего стародавнего платяного шкафа пару новых шерстяных носков и, усадив мужа на диван, собственноручно надела их ему на ноги. — Ну, вот, может, будет тебе теперь хоть немного теплее.

— Мне возле тебя всегда тепло, печечка моя синеглазая. Не могу без тебя, Любаша, никак, хоть ты меня убей! — дрогнувшим голосом засвидетельствовал дед Ксаверий неизменность своих нежных чувств к жене и впервые за последнюю неделю бережно обнял её за податливые тёплые плечи...

В наступившей вслед за тем тишине было отчётливо слышно, как, приближаясь к полуночи, скрипуче отсчитывали время старые настенные часы. Потрескивали, осыпаясь пламенеющими искрами, дрова в раскалённой гудящей печке. Безмолвствовал один лишь отремонтированный водопроводный кран на кухне. Да вызывала немое удивление непочатая пачка дешёвых сигарет в мятой алюминиевой миске у порога. Обронила ли её туда баба Люба, очищая, как обычно, утром от табачной скверны карманы старой мужниной куртки; или это было благодарное приношение крысы Барракуды, которой посчастливилось обнаружить один из полузабытых дедовых тайников?.. Достоверно известно лишь одно: дед Ксаверий с того дня начисто охладел к табаку. А Барракуда, нагулявши себе на перловой каше круглые бока, внезапно ощутила тягу к дальним странствиям. Приняв однажды непростое решение расстаться с гостеприимными хозяевами, она более уже никогда не возвращалась в их маленький приземистый дом у самой дороги.